

Сай Юн

Дом — это не стены

УДК 82-3
ББК 84
Ю49

Юн С.

Ю49 Дом – это не стены / Сай Юн. – М.: Литнет, 2026. – 82 с.

ISBN 978-5-521-99370-3

Предупреждение для читателей: эта книга не похожа на мои предыдущие истории. Здесь нет магии в привычном смысле, нет динамичного сюжета и лёгкого юмора. Это медленная, тихая проза о тех, кто потерялся и ищет дорогу домой. Если вы готовы к этому – добро пожаловать.

Она знала, что цифры не врут. Цифры были честнее взрослых. Он сжал кулаки так, что побелели костяшки, и понял: если останется – его сломают. Она вышла ночью в супермаркет и нашла в подворотне коробку с котёнком. И не смогла пройти мимо.



Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ.

ISBN 978-5-521-99370-3

© Литнет, 2026
© Юн С., 2026

Кулаки и мягкие лапы

Сэм понял, что это всё... Ещё до того, как это сказали вслух.

Так бывает: сначала меняется воздух. Он становится ровным, спокойным, чужим – как в кабинете врача, когда доктор уже решил, что тебе не повезло, но ещё подбирает слова, чтобы «выразить помягче». Воздух густел, становился непроглядным сиропом, в котором каждое движение требовало усилий, а звук тонул, не долетая до ушей. Потом взрослые перестают смотреть в глаза. Их взгляды скользят по тебе, как по неодушевлённому предмету – по стулу, по стене, по дверной ручке, – избегая встречи. Потом начинают говорить медленнее, будто ты не понимаешь, в чем дело. Или, что еще страшнее, будто ты понимаешь слишком хорошо, и они стыдятся этих слов. А потом произносят фразу, которую ты будешь помнить всю свою жизнь – даже в тишине, даже под одеялом, зажав уши ладонями, она будет звучать внутри, как надломанная пластинка.

– Ты должен понимать, Сэм, – сказала Мэри Ларс, листая какие-то бумаги. Шуршание страниц было похоже на шелест погребальной бумаги. – Мы не можем бесконечно...

Она не договорила. Ей и не надо было. Эти три точки висели в воздухе целым приговором. Бесконечно терпеть тебя. Бесконечно тратить на тебя время. Бесконечно ждать, что ты станешь нормальным.

Сэм знал, что будет дальше: терпеть, держать, прикрывать, оправдывать. Всё то, что взрослые делают, пока ребёнок ещё «вписывается». А потом перестают обращать внимание. Он видел, как это происходило с другими. Сначала – учащённое дыхание, пристальные взгляды, встревоженные перешёптывания за спиной. Потом – усталая отстранённость. Потом – пустота на том месте, где раньше был человек. Он превращался в проблему, в папку с документами, в «тот случай».

Он сидел на краю стула, так прямо, будто его привязали за позвоночник к невидимой стойке. Каждый мускул был напряжён до дрожи. Руки – на коленях. Пальцы сжаты. Не кулаки, нет. Так, как будто он держит внутри себя крышку, чтобы ничего не вырвалось наружу. Если вырвется – будет только хуже. Вырвется крик, вырвутся слёзы, вырвется тот немой вопросительный визг, который жил у него в груди с тех пор, как он себя помнил: «Почему я такой? Что со мной не так?». А они используют это против него. Скажут: «Видите, он нестабилен. Нуждается в коррекции».

– Ты умный мальчик, – продолжила Мэри Ларс, не поднимая глаз, изучая строки в документе так, будто искала там оправдание для того, что собиралась сделать. – У тебя есть потенциал. Но ты... сложно поддаёшься коррекции.

Слово «коррекция» резануло слух, как скрежет металла по стеклу. Как будто он – бракованный механизм. Не человек, который злится и боится, а нечто, что нужно подогнать под стандартные размеры, подпилить, смазать, чтобы не скрипел.

Сэм смотрел на её ручку. Дорогую, с золотым пером. Она скользила по бумаге, оставляя чёрные, жирные линии. Строчки. Решения. Его судьба умещалась на листе формата А4. У Сэма всегда было такое ощущение, что чужая ручка решает его жизнь легче, чем он решает, что съесть на завтрак. И так же безвкусно.

– Тебя переводят, – сказала она наконец, поставив в конце фразы точку. Не запятую, не многоточие. Точку.

Сэм моргнул. Один раз. Второй. Будто проверял: может, это сон. Может, если моргнуть достаточно быстро, картинка перезагрузится, и он окажется в своей комнате, заваленной рисунками, где на стенах летали драконы и космические корабли, а не висели эти дурацкие правила поведения. Но нет. Он видел пылинки, танцующие в луче света от жалюзи. Слышал тиканье часов на стене. Чувствовал, как дерево сиденья впивается в ноги. Это было ужасающе реально.

– Куда? – спросил он.

Голос звучал ровно, плоским, неживым тоном. Не так, как внутри. Внутри всё падало в чёрную, бездонную шахту. Сначала сердце сорвалось в свободное падение, за ним потянулись внутренности, потом мысли, разбиваясь где-то внизу о каменное дно – «это конец». А снаружи он был просто мальчиком на стуле.

Преподаватель вздохнула так, будто перевод – это не про него, а про ее тяжелую жизнь, про лишние хлопоты, про бумажную волюкиту. Этот вздох был обиднее крика.

– В учреждение... с усиленным режимом. Там работают специалисты. Тебе там будет лучше.

«Усиленный режим». Сэм знал, что это значит. Он слышал истории. Это когда тебе не дают быть таким, каким ты хочешь. Когда тебе расписывают день по минутам: подъём, зарядка, завтрак, занятия, «коррекция», отбой. Когда тебя не спрашивают, хочешь ли ты говорить, молчать, бежать или сидеть. Когда «специалисты» умеют заставить тебя быть тише. Удобнее. Послушнее. Такие дети, как Сэм, выходят оттуда не исправленными. Не исцелёнными. Они выходят пустыми. С выжженной изнутри душой, с глазами, в которых погасла всякая искра. Из них делают тихих, управляемых призраков.

Он представил себя там – серые стены, решётки на окнах, не пахнущие домом коридоры, чужие, оценивающие лица. И в груди стало так холодно, так пронзительно и абсолютно холодно, как будто он уже внутри, как будто лёд этой мысли навсегда врос в его кости.

– Я ничего... – начал он и остановился, сжав челюсти так, что заболели виски.

Что «ничего»? Он ничего не сделал? Неправда. Он сделал. Он подрался. Да, потому что его дразнили, тыкали в него пальцами, шептали за спиной. Он крикнул. Да, потому что его голос годами копился внутри как пар в закупоренном котле, и ему нужно было вырваться, иначе он разорвёт его на части. Он швырнул стул, когда его снова называли «тварью» и «психом». Да. Он был тем самым неудобным ребёнком, про которого говорят: «с ним невозможно».

Только никто, никогда, ни разу не спросил, каково было ЕМУ. Каково это – каждый день чувствовать мир слишком громким, слишком ярким, слишком колючим. Каково это – не знать, как выразить боль иначе, чем взрывом. Каково это – видеть в каждом взгляде осуждение, а в каждом жесте – угрозу.

– У нас уже назначена комиссия, – добавила Мэри Ларс, которая долго молчала, глядя в окно. Её голос прозвучал как приговор, приведённый в исполнение. – Завтра.

Завтра.

Это слово повисло в комнате, тяжёлое и окончательное. Не через неделю, не через месяц. Завтра. У него оставалась одна ночь. Одна ночь в своей комнате, со своими драконами на стенах. Одно утро, чтобы проснуться в своей постели. А потом... Потом его увезут. Упакуют, как вещь, и отвезут в то место, где из него будут вытравливать всё, что делало его Сэмом. Где его «исправят».

Он медленно поднялся со стула. Его колени не дрожали – они были как деревянные. Он посмотрел на Мэри Ларс, и в этот раз она не смогла отвести взгляд. Может быть, она увидела в его глазах не бунт, не злость, а ту самую пустоту, которую она ему предрекала. Пустоту, наступившую раньше срока. Он не сказал больше ни слова. Просто развернулся и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. В тишине кабинета щелчок замка прозвучал как последний удар молотка по гробу его старой жизни.

Коридор за дверью был длинным и ярким. Сэм шёл по нему, и каждый шаг отдавался эхом в этой звенящей, ледяной пустоте внутри. Он сжал руки в карманах, но это уже не было попыткой удержать крышку. Крышку сорвало. Внутри теперь не было ни ярости, ни страха. Только тихий, всепоглощающий холод «после». Он смотрел в окно на конце коридора, за которым клубились облака, и думал, что завтра, в это же время, он, возможно, уже не увидит этого неба. Только потолок. Серый, ровный, как крышка гроба, потолок.

Сэм улыбнулся – не губами, а чем-то внутри, где обычно живёт злость. Уголки рта даже не дрогнули. Это было похоже на вспышку в крошечной тьме: короткую, ясную и горькую. Злость сейчас была слабой, истекающей кровью раненой птицей, забившейся в самый дальний угол его сознания. Её затопило другое чувство: бессилие. Оно было не горячим, как ярость, а ледяным и тяжёлым, как каменный саркофаг, сдавливающий грудь изнутри. Он чувствовал его вес в каждом мускуле, в каждом замедленном движении.

– Можно идти? – спросил он, и его голос прозвучал чужим, плоским, лишённым всех оттенков.

Мэри Ларс кивнула, наконец-то подняв на него взгляд. В её глазах он прочёл не сожаление, а облегчение. Дело закрыто. Папку можно отложить в сторону.

– И... Сэм, – добавила она, словно вспомнив, что он живой, что он ещё здесь, в этой комнате, а не просто запись в протоколе. – Постарайся сегодня без... эксцессов.

Эксцессов. Так называли его попытки выжить. Его попытки сказать «мне больно».

Он вышел из кабинета и шёл по коридору так, будто идёт по стеклу. Осторожно, почти на цыпочках, боясь оступиться, боясь хруста, который привлечёт внимание. Каждая клетка его тела кричала, но он заставил её молчать. Воспитатели, дети, гомон, звонок на обед – всё было как обычно. В этом и была особая, изощрённая жестокость: мир вокруг не меняется, не замедляет ход, не тускнеет, когда тебя из него вычеркивают. Солнце так же светит в окна, кто-то смеётся, кто-то спорит о сериале. Ты становишься призраком ещё при жизни.

В спальне он сел на свою кровать, ту самую, у стены, с царапинами на спинке от его ногтей. Посмотрел на свои старые кроссовки – один шнурок был перевязан узлом посередине. И понял, как понимают законы физики: с неотвратимой, железной ясностью. Если он останется до завтра – его увезут. А если увезут, пути назад уже не будет. Там не будет этой кровати, этих царапин, это-

го вида на голую акацию за окном. Там будет программа. Режим. Коррекция. И он вдруг отчётливо, почти физически, почувствовал: его больше никто не будет спасать. Ни случайно, ни «по ошибке», ни потому что «сердце дрогнуло». Никто не ворвётся в последний момент, не перечеркнёт резолюцию, не скажет: «Ой, подождите, это же Сэм, ему нельзя туда, вы что!».

Потому что Сэм для них – проблема, а не человек. А проблемы не спасают. Их решают. Или изолируют.

Он встал. Движения были точными, лишёнными суеты. Он взял свой рюкзак, потрёпанный, с оторванным брелоком, и кинул туда первое, что попало под руку: тёмно-синюю худи, пару носков (один в горошек, другой чёрный), недопитую бутылку воды из-под кровати, старый телефон без симки, который держал заряд три дня и был набит пиксельными играми. Он даже не думал, что берёт – руки делали это автоматически, будто репетировали этот побег много лет во сне. Как будто он уже много раз это делал. Как будто весь его путь здесь вёл к этому моменту – к выбору между тюрьмой с решётками и тюрьмой без.

В коридоре он прошёл мимо зеркала в золочёной раме – «для придания эстетики», как говорили. В отражении был подросток с напряжёнными, поднятыми к ушам плечами и глазами взрослого, уставшего человека, который уже всё понял. Сэму стало физически противно. Он не хотел вырасти так рано. Он хотел, чтобы его глаза ещё горели от глупых мультиков, а не потухли от тихого отчаяния. Он отвернулся.

Служебный выход пах старым линолеумом и хлоркой. Там редко кто ходил. Дверь, всегда запертая, сегодня, по чьей-то забывчивости или иронии судьбы, была лишь прикрыта. Он толкнул её плечом, и она с тихим скрипом открылась в ночь.

Дождь ударил ему по лицу сразу, как пощёчина. Резкий, холодный, неожиданный. Сэм вздрогнул всем телом, но не остановился, не отпрянул под крышу. Он сделал шаг на улицу, потом другой.

Дождь был честнее людей: если он бьёт, он хотя бы не притворяется, что это «ради твоего блага», «для твоего развития» или «из лучших побуждений». Он просто лил. Безразлично и беспощадно.

Он шёл куда-то, не разбирая дороги. Ноги сами несли его прочь, от огней, от звуков, в сторону чёрного пятна промзоны. Улица расплывалась в воде и растянутом свете редких фонарей, превращаясь в акварельный кошмар. Машины проносились мимо, поднимая грязные, ледяные брызги, хлеставшие по голениям. Сэм прижал рюкзак к груди, будто защищался им, будто это был единственный щит между ним и всем миром. Внутри него глухо стучало сердце, отмеряя последние удары старой жизни.

Он не знал, сколько времени прошло – час, два? Пока его ноги не упёрлись в крутой спуск, а перед глазами не выросла громада моста. Его железные рёбра уходили в сырую мглу, а снизу доносился тяжёлый, влажный гул города и шелест воды.

Под мостом всегда темнее и страшнее, но не для него. Страх был знакомым, почти уютным. Ему было бы куда ужаснее сейчас вернуться назад, в ту чистоту, в тот порядок, в те заботливые взгляды, которые видели в нём дефект. Тяжёлый, колючий ком сжался в горле, но он с силой сглотнул его, ощутив, как он царапает изнутри, и взял себя в руки. Тут, под рёбрами моста, воздух был совсем другой: запах мокрого бетона, острой ржавчины, бензина и вечно-го, пронизывающего холода, идущего от воды. Здесь можно было спрятаться. Исчезнуть. Слиться с этой сыростью и тьмой.

Сэм прислонился к холодной колонне, сполз по ней на землю, обхватив колени руками. Капли, пробивавшиеся сквозь стыки плит, падали ему на голову и плечи, но он их не замечал. Он сидел и смотрел в темноту, где мерцали отражения далёких огней на чёрной воде. Ему вдруг показалось, что это идеальное место для таких, как он. Последний приют для тех, кого мир не хочет видеть на своих светлых, удобных улицах. Здесь, в этом каменном чреве, под рокот чужих моторов, он был на своём месте. Брошенная вещь в грудё другого хлама.

Он закрыл глаза, прижал лоб к коленям, и только теперь, в полной, никем не видимой темноте, позволил себе дрожать. Тихие, беззвучные спазмы сотрясали его тело. Слез не было. Они остались там, в том кабинете, высохли, не успев родиться. Здесь была только дрожь. И всепоглощающая, оглушающая тишина внутри, в которой медленно угасало последнее эхо его собственного имени.

Он остановился у опоры и наконец-то выдохнул. Воздух вышел со свистом, унося с собой остатки показной стойкости. И тут же, в этой новой, хрупкой тишине, услышал короткое, предостерегающее:

– Ш-ш-ш...

Сэм замер, превратившись в слух и взгляд. Из темноты, почти под самым пролётом, на него смотрели глаза. Не два светящихся точки, как у крысы, а два узких, жёлтых полумесяца, полных холодного, дикого света. Осторожные. Оценивающие. Сначала Сэм подумал, что это бродячая собака. Потом увидел силуэт, вырисовавшийся в полумраке.

Кот.

Большой. Полосатый, как старая, изношенная тюремная роба. Мокрый до костей, шерсть слиплась в жалкие, тонкие сосульки, обрисовывая каждое ребро, каждый выпирающий сустав. Он сидел, прижавшись к стене, будто хотел стать частью этого холодного бетона, раствориться в нём и исчезнуть. И смотрел так, как смотрят те, кто слишком много раз обжигался, кого гнали, били, обманывали пустой лаской. В этом взгляде не было страха. Была усталая, выстрадавшая готовность к удару.

Сэм сделал шаг, инстинктивно, не думая.

Кот тут же выгнул спину дугой, шерсть на холке встала дыбом, и он зашипел громче, обнажив мелкие, острые клыки. Звук был рваным, хриплым – предсмертной угрозой того, кому терять уже нечего.

– Тихо, – сказал Сэм, сам не зная, зачем. Слово вышло сиплым, скомканным. – Я не трону.